

**Ц**

**В**

**Е**

**Т**

**Ы**

**З**

**Л**

**А**



**Страшные  
любовные  
истории**

**П**

**А**

**В**

**И**

**Ч**

Цветы зла

Милорад Павич

**Страшные любовные истории**

«РИПОЛ Классик»

2001

УДК 82/89  
ББК 84(4С)

**Павич М.**

Страшные любовные истории / М. Павич — «РИПОЛ Классик»,  
2001 — (Цветы зла)

ISBN 978-5-521-00795-0

Авторский сборник сербского мастера магического реализма приглашает читателя в таинственную вселенную, где любовь рифмуется со смертью, а сон неразличимо перетекает в явь.

УДК 82/89  
ББК 84(4С)

ISBN 978-5-521-00795-0

© Павич М., 2001  
© РИПОЛ Классик, 2001

## Содержание

Одиннадцатый палец	6
История о душе и теле	11
Долгое ночное плавание	15
Корсет	18
Сводный брат	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# Милорад Павич

## Страшные любовные истории

МИЛОРАД ПАВИЋ  
Страшне љубавне приче

This edition is published by arrangement with Tempi Irregolari, Italy

*Перевели с сербского Л. А. Савельева, Н. М. Вагапова*

Original title: Strašne ljubavne priče izabrane i nove

© 2001 Milorad Pavić

© 2011 Jasmina Mihajlović [www.khazars.com](http://www.khazars.com)

@miloradpavicofficial

© Савельева Л. А., перевод на русский язык, 2018

© Вагапова Н. М., перевод на русский язык, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии»,

2018

## Одиннадцатый палец (Письмо мертвым)

*Светлейшему и благородному и всякого почитания и восхваления достойному Господину Князю и всем господам дубровницким и моему верному и дорогому другу Бернарду Ришарди мой поклон. Желая вам, по милости Божьей, радоваться и крепить свою власть. Я, Кувеля Грек, находясь между двумя крестами и между двумя мечами, пишу по вашему повелению из города Нови, 6 апреля 1667 года.*

Ваша светлость, хотя черта никто не видел, люди добрые сумели его себе вообразить, а вы не удивляйтесь, что это письмо совсем не такое, как прежние мои письма. Кто умеет перекреститься, тот и саблю получит, а если вам мое письмо сначала покажется смешным, то вы себе смейтесь на здоровье, немного смеха за ушами никогда не повредит, а вот от громкого смеха воздерживайтесь, не то пропадет голод и вы не сможете есть. В нужное время, когда уши будут далеко, а глаза близко, дойдет дело и до того сообщения, которое прямо касается вас, светлейшие и славнейшие господа. Пока не дочитаете мое письмо до конца, что хотите, то и думайте. Оно вам покажется удивительным, по крайней мере в три раза более удивительным, чем все мои прежние письма. А возможно, оно было бы еще удивительнее, не держи я сейчас в своей руке обычное перо, а вы в ваших – мою голову.

Я пишу железным пером и серебряными чернилами не потому, что швыряю деньги на ветер, а сапоги украшаю дорогими пряжками. Нужда меня заставляет. Не потому сосна стоит, что буря ее не ломает, а потому, что навстречу буре другие ветры дуют. Меня, конечно, не положат в гроб в той же одежде, в какой убьют, но серебром я пишу не из-за большого богатства, а из-за того, что зрение мое слабеет и подходят к концу наши с вами дела и мои к вам письма. Придется вам нанимать кого-то другого, чтобы присылал вам донесения с турецкой стороны, ведь мы нужны, пока у нас силы есть. Я положил в огонь и мужских, и женских дров, греется моя старость, пекутся яйца в золе, а я макаю перо то в свечку, то в порошок, перемешанный с серебром. Пока перо блестит, я вожу им потихоньку, а как перо потемнеет, так и в глазах у меня темнеет, и снова надо обмакивать перо в свечку... Так и пишется мое последнее к вам письмо. Но я надеюсь, что мрак есть только отсутствие света, так же как боль и зло суть отсутствие Добра, а сами они не являются ни истинными, ни сущностными.

Вы знаете, Ваша светлость, что я уже третий Кувеля, который служит вам верой и правдой, еще дед мой Михо и отец мой Иван слали тайные донесения из так называемых турецких земель тем пресветлым князьям и господам дубровницким, которые, возможно, приходились вам отцами и дедами, а все это для того, чтобы ваше государство укреплялось, а наш язык, хотя бы в ваших краях, звучал свободно. Вы знаете и то, что мой отец Иван радел и о наших греческих, и о ваших римских крестах, выкупая их у турок, чтобы спасти от переплавки на посуду, и что он слал вам достоверные сведения обо всем, что делается у турок, пока не встал на его пути один из Шабановичей, бек города Нови, Ризван Шабанович, проведавший, что Кувели вам пишут. Понял тогда отец, что сам себя за локоть не укусишь, сел на корабль к ускокам<sup>1</sup>, и до крещенских морозов никто его не видал... А когда наступил такой холод, что щека не чуяла прикосновения пальцев, он спрятался вместе с ускоками в заброшенной церкви на горе Орен (как можно дальше от монастыря Савина, где в то время я обучался грамоте). Чтобы не умереть от холода, они сначала бросали в костер снятые с ружей приклады, а когда

---

<sup>1</sup> Ускоки (хорв. uskok, перебежчик) – беженцы из находившихся под властью турок южнославянских земель. – Здесь и далее примеч. пер.

их спалили, принялись жечь подряд все деревянное, даже церковные иконы, осеняя себя при этом крестом и давая зарок построить церковь лучше прежней, как только придет весна и они смогут взяться за весла. Иван Кувеля набирал в свой плащ снегу, спускался с гор, нес его в безводные селения, а там отдавал женщинам в обмен на корку хлеба. А когда понял, что, хоть грех велик, исполнять зарок уже некому, он под прикрытием метели тайно спустился с гор в Нови. Сначала пошел на пристань и напился морской воды, потом отправился домой, достал пояс, в котором были зашиты дукаты, предназначенные для моего обучения и пропитания, и, Ваша светлость об этом знает, послал кошелек с золотом своему дорогому другу и вашему верному товарищу Стиепе Бацу в Дубровник, с просьбой отвезти деньги в Константинополь в обмен на голову того бека Шабановича, что стал у него на пути. И написал вам тогда отец мой, Иван Кувеля: «Куда послать золото – решайте сами: или как „гостинец“ в Стамбул, чтобы лишили жизни бека, или в Улцинь какому-нибудь сарацину, чтобы он лишил жизни меня. Но больше так продолжаться не может; два ножа за одним голенищем не носят...» Сами знаете, Ваша светлость, из брови выдергивают самый длинный волос, а из ресниц – самый короткий; не буду рассказывать, как из Стамбула прислали в Сараево шнурок для новского бека Шабановича и как бек поехал в Сараево и вернулся оттуда удушенным и завернутым в шатер. Вы это лучше меня знаете. Скажу только, что в ту же ночь вызвали в Нови брата бека Шабановича по имени Бек-Заги, жившего в городе Требинье, и что в первую же среду на заходе солнца въехал Бек-Заги в Нови и, ни в чем не соблюдая траура, проскакал вместе со своей женой по всем улицам города, на конях была серебряная сбруя, его саблю и копье украшали кисточки, а сам бек, сидя в седле, курил трубку и повторял все время, что недобрый слух не может быть правдой и что его заклятые враги, как турки, так и неверные, распускают злобные сплетни. Так и проехал бек через весь город со своими людьми, как будто нет у него никакого траура, а жители вели его лошадь под уздцы, передавали поводья из рук в руки, говорили ему слова участия и желали доброго здоровья. А он отвечал всем так:

– Ничего не хочу слышать, потому что знаю, что дубровницкие господа, соседи наши, никогда не станут нашими кровными врагами, ведь они могут представить себе последствия того, о чем идет речь, и знают, что возмездие рано или поздно всегда наступит...

Когда бек приехал в дом к матери, братьям и другим родичам, он повторил, что ничего такого быть не может, хотя уже видел, что брата привезли из Сараева завернутым в шатер. И домашние не надели траур. Только на следующий день, в четверг, когда какой-то человек доставил в Нови письмо из Мостара, в котором один знакомый Шабановичей сообщал, что бек и вправду убит по приказу из Стамбула, и когда стали по всему городу говорить: «Не ссорьтесь с господами дубровницкими, ловко они подстроили убийство бека Шабановича, воспользовавшись несметными своими богатствами для подкупа визиря», тогда только в доме убитого началось волнение. Все заплакали, запричитали, облачились в траур, отрезали коням гривы и хвосты. Мать надела на себя конскую попону и подпоясалась лыком, брат занемог и перестал выходить на улицу, зеркала повесили лицом к стене, стали варить халву, которую, так же как и деньги, раздавали прохожим на улице за упокой души усопшего, а слуг отправили по всей округе ставить возле мостов желобки для стока воды, на которых значилось имя убитого.

Тогда мой отец Иван отдал мне свое перо и вашу бумагу, а сам нанялся лоцманом к одному владельцу шхуны, который доставлял паломников в Иерусалим и в святые места. И с тех пор как он уехал, уж и камень от ветра похудел, и море от дождей пополнело, а я его так и не видел. Он поселился в монастыре Св. Феклы в Иерусалимской арсане, где причаливали наши суда, а паломники перед путешествием по Палестине отдыхали и обзаводились путеводителями, изготовленными местными писарями. Иногда он посылал мне в Нови деньги или письмо, а я в то время как раз подрос и начал писать для вас свои первые длинные донесения, – ведь по какой колодке делают туфлю, такой она и получается. В те годы я ходил на нов-

скую пристань, когда возвращались к нам на зимовку суда, возившие паломников, и, втайне от Шабановичей, поджидал отца у Каили-башни.

Прошло несколько лет тщетного ожидания, и вот однажды вместе с другими паломниками на берег сошла одна женщина. Она бежала с одного из тех островов, где нет мужчин. Такие сначала удовлетворяют себя живым угрем, а при первой же возможности устраиваются на галеры с паломниками и там, сначала для удовольствия, а потом ради угощения и денег, занимаются продажей того, чего не покупали. Простите меня, Ваша светлость, но в то время я еще не путался с женщинами и не знал, что за напасть ношу на себе как одиннадцатый палец или как третью ногу, прикрепляя ее подвязкой к своей ляжке. Но шила в мешке не утаишь. В тот вечер вместо отца я встретил эту женщину, мне понравились ее волосы, которые она жевала, будто от голода, но не того голода, что утоляют хлебом. Я заметил, что, спрыгивая на землю, она руками поддерживала свою грудь, и в тот самый момент, когда я увидел это, она тоже взглянула на меня. Она пошла вперед, я пошел за ней, она часто оглядывалась, я взял дукат, перекинул ей через голову, и он упал в пыли под ее ногами. Уже опустилась ночь, и мы были одни на соленой земле. Словно нечаянно, она наступила на золотой, и я подумал, что сейчас она уйдет, однако она, не отрывая ногу от земли, вдруг повернулась ко мне. Внимательно на меня посмотрела и сказала всего два слова:

– Ты Кувеля?

Так я узнал, что она бывала на том корабле, на котором плавал мой отец. Потом она молча достала одну грудь и показала мне, что сама может взять в рот весь свой сосок до самого ободка. Тут на мне лопнула подвязка, я почувствовал острую боль, и из меня потекло что-то теплое, сладкое, изнуряющее, как кровотечение. Я едва удержался на ногах, а она быстро подошла ко мне, развязала на мне кушак и, увидев все как есть, тихо вскрикнула, прикрыв рот ладонью. После этого она подняла дукат, зажала его между зубами и, поцеловав меня, сказала на прощание, что я должен ждать ее завтра на пристани на своем судне, если оно у меня имеется. Когда она ушла, я с трудом осознал, что дукат остался у меня во рту.

На следующий день она пришла не одна. С ней была женщина, которая занималась тем же ремеслом и была одного с ней возраста или, может, чуть помоложе. А я уже не мог, как раньше, держать свой одиннадцатый палец за подвязкой, вместо этого я поместил его на то место, где он находится и сейчас, когда я пишу вам эти строки, под широким поясом вместе с пистолетом, кинжалом, чернильницей и зашитыми в пояс дукатами. Когда мы встретились, Ерисена Ризнич (так звали женщину с галеры) подала знак своей подружке, и та расстегнула на себе безрукавку, а мне размотала кушак. Я смотрел на девушку, девушка смотрела на меня. Я видел ее маленькие груди, на которых были нарисованы два больших глаза того же фиолетового цвета, что и глаза на ее лице. В ушах у нее вместо сережек висели колокольчики, иногда они тихо позванивали на ветру. Глаза ее грудей были кривыми, один глаз смотрел на северо-восток, другой – на юго-запад, они как будто молились, обратившись ввысь, в небо, туда, где птицы, облака и свет, а ее настоящие глаза смотрели вниз, на мой кушак, где между чернильницами и кошельками, прямой, как рукоятка ножа, стоял мой одиннадцатый палец, ощущая все четыре стороны света. И тогда девушка, обращаясь не ко мне, а к Ерисене Ризнич, спокойно и решительно сказала одно-единственное слово:

– Нет.

– Хорошо, – согласилась Ерисена, – ты не обязана, но останься с нами, ты мне поможешь.

И все трое мы поднялись на борт. Обе они смеялись, говоря о том, что под палубой нет ни одной кровати, поставленной поперек судна, потому что они привыкли заниматься любовью качаясь на волнах, и это гораздо удобнее, чем на суше, и что если бы я сейчас сделал ребенка, то наряду с моей заслугой в этом была бы и заслуга моря. А дальше они приступили к тому, чем мы потом не раз занимались втроем и о чем я не стану говорить Вашей светлости, а то вы подумаете, что я все это рассказываю из-за своего бесстыдства и что мой рот полон ветра, а

под шапкой у меня глупый камень. Но одно я должен сказать, потому что это имеет отношение к нашему делу. Мне было позволено обладать только Ерисеной, хотя при этом никогда не мог прикоснуться к ее красивой груди, потому что между нами всегда ложилась ее товарка, так как иначе я мог повредить Ерисену своим одиннадцатым пальцем, который, как я уже стал понимать, был для женщин хуже, чем сабля, а для меня – опаснее, чем огонь. Таким образом, ниже пояса у меня была та, которую я имел, а выше пояса та, которую я не имел никогда, но которую, как я со временем понял, желал больше, чем Ерисену. С тех пор я больше не смеюсь, даже тайком, потому что ни один год моей жизни не стоил мне так дорого, как тот, о котором я рассказываю сейчас. Но теперь все это почти забыто, и, обращаясь к Вашей светлости, я не стал бы ворошить прошлое, если бы, как выяснилось, Ерисена на следующий год не родила в Коринфе ребенка, мальчика, и я, предполагая, что это мог быть мой сын, каждые три месяца высылал ей деньги, то есть часть той платы, которую получал от Вашей светлости в награду за мои письма с турецкой границы. Взамен я потребовал от Ерисены только одно: научить мальчика грамоте. Время сейчас трудное: с левой ноги пойдешь – бьют тебя турки, с правой ноги пойдешь – бьют венецианцы, и никто не ослабит удила на твоём языке и не переоденет в чистое белье твоё имя, кроме вас, светлые и славные господа, и вы, Ваша светлость.

Тем временем я продолжал жить один, словно тень в доме, и утолял свою жажду, как дикий зверь – каждый раз на новом водопое, причем чаще всего с беженками, которых я поджидал и выбирал на причале, потому что это стало для меня страстью. К моему большому удивлению, они обычно отказывались принимать от меня плату, это было непонятно, потому что даже самым искусным из них было со мной нелегко. Однажды, года четыре назад, я получил из Коринфа обмотанный шерстяной тканью сверток, а в нем была написанная красивым почерком рукопись. К рукописи прилагалось письмо, продиктованное Ерисеной Ризнич, в котором она сообщала, что выполнила мое условие и посылает мне то, что написал ее сын Вид. С неизъяснимым волнением я взял листы бумаги и начал читать. Я удивился разборчивости почерка и красоте букв угловатой кириллицы. А еще больше – содержанию написанного. Вот первое, что я прочитал, развернув лист:

*Галера на десять весел капитана Вицка Усталича из Пераста. Год 1666.  
Василия Филактос. Не гречанка. Цена – двенадцать грошей. Около семнадцати лет. Может завязывать свои волосы вокруг пояса. Можно налить ей между грудями и выпить стакан вина, при этом ни капли не прольется. Живот целиком помещается в одной горсти. Легко достигает удовольствия, легко может и расплакаться. Больше всего подходит мужчине среднего роста, с узкими бедрами, широкими ладонями, у которого не слишком много семени и который больше привык к тому, чтобы женщины любили его, а не он их. Кто не любит женщин, занимающихся любовью с обрезанными, может быть на этот счет совершенно спокоен...*

Оказалось, что передо мной перечень цен и услуг особого рода. В рукописи упоминалось около двадцати названий судов, под названием каждого судна указывалось с десяток женских имен, около каждого женского имени стояла цена, а рядом – ее обоснование. Описывался внешний вид «беженок», затем тайные особенности и мастерство каждой из них, и давались полезные советы. Я был растерян и смущен и решил убедиться в том, что все это действительно написал мой сын. Мне не терпелось удостовериться в этом, потому что как раз в то время у меня начало портиться зрение, хотя силу я еще не потерял. Я подсчитал, что Виду той осенью должно было исполниться восемнадцать лет, и велел передать Ерисене, чтобы она с первым же судном с паломниками на некоторое время прислала ко мне Вида.

Как раньше я ждал своего отца, так теперь, втайне от Шабановичей, ждал галеру, с которой должен был прибыть Вид. Я волновался и все никак не мог спрятать лицо от лучей заходя-

щего солнца за крестом мачты вытасченного на берег корабля. Я пытался укрыть свои глаза за пересечением мачты и реи, но у меня ничего не получалось: лучи выбивались то выше, то ниже реи, и наконец я понял – причина в том, что я дрожу. В сумерках причалила галера, но Вида на ней не было, вместо него на берег вышла одна очень молодая женщина, на которую я сразу же обратил внимание, потому что, спрыгивая вниз, она поддерживала свою грудь. Она побежала вперед, продолжая держаться за грудь, потом оглянулась, я, как когда-то давно, перебросил через ее голову дукат, который упал перед ней на дорогу. Она наступила на него и повернулась ко мне. Я заплатил ей за одну ночь и дал ей столько же за другую, но уже не со мной. Я сказал ей, чтобы она отправилась в Коринф, нашла там Вида, сына Ерисены, и провела ночь с ним.

– Ты была со мной и меня уже знаешь. Когда проведешь ночь с Видом, будешь знать нас обоих. Если сумеешь понять, сын он мне или нет, возвращайся назад и в любом случае получишь еще столько же. Если он мой сын, пусть приедет с тобой, если нет, то не надо. Я чувствую, что с этим человеком связана какая-то тайна.

Женщина согласилась, а я наконец взял себя в руки и сел за письмо к Вашей светлости в Дубровник, чувствуя себя счастливым оттого, что прошу у Вашей светлости взять к себе на службу моего сына, чтобы он, если Бог даст и Мария Благодатная даст, служил вам еще лучше, чем я, ваш нижайший слуга, Кувеля Грек. И я был счастлив, что нить нашей семьи не прерывается, как гнилая веревка, и что на службе вашей пресветлой республики будет еще один Кувеля, четвертый в этом столетии, сын мой Вид. А я склоню голову себе на руки и буду одной болезнью болеть, а другой опасаться. Письмо было уже готово, и я ждал только подтверждения моих надежд и приезда сына. Но мне пришлось порвать письмо, хотя оно стоило мне большого труда из-за моих помутневших глаз. Потому что как раз тогда, когда письмо было готово, из Коринфа вернулась та девушка и отчиталась передо мной в двух словах:

– Вид не твой сын. Он сын твоего отца Ивана Кувели. А ты не можешь иметь детей.

Когда я, пораженный известием, спросил ее, почему она так в этом уверена, она сказала, что с самого начала была послана ко мне моим отцом, Иваном Кувелей из Палестины, что он заранее заплатил ей за то, чтобы она была со мной, потому что до этого она была с ним, и он решил, что она того стоит. Он поступил с ней так же, как когда-то поступал с Ерисеной Ризнич и многими другими женщинами, которым он платил вперед и из года в год посылал ко мне в Нови. Эти женщины, как теперь стало ясно, были единственной связью между моим отцом и мной, так же как теперь они устанавливали связь между мной и моим братом Видом. Итак, Ваша светлость, вашим нижайшим слугой в будущем будет не мой сын, а мой брат, Вид Кувеля. Трезвый от вина, но пьяный и в слезах от тоски, я жду его на пристани и дрожу так, что обувь у меня развязывается. Желаю ему не посрамить своего имени, а Вам, по милости Божьей, радоваться и крепить свою власть и тогда, когда меня, Кувели Грека, уже не будет на свете и не буду я стоять между двумя мечами и между двумя крестами, обмакивая перо в свечку. По-другому и быть не может. Если свет померк, как не окажешься в темноте?

Нови, 6 апреля 1667 года

P.S. Этот *post scriptum* пишет не Кувеля Грек, а писатель, автор книги «Железный занавес», живущий спустя три века после Кувели, в 1973 году. Донесения Кувелей, добровольцев-информаторов, которые в XVII веке из поколения в поколение сообщали сведения о событиях в Османской империи из города Герцег-Нови (который находился в те времена на территории, принадлежавшей туркам) в Дубровницкую Республику, и сегодня хранятся в архиве Дубровника под шифром Pr 1942, 1-185. Однако это письмо Кувели Грека так никогда и не попало в руки дубровницкого князя и других лиц, которым оно было предназначено. Письмо оказалось адресовано мертвым. Оно написано 6 апреля 1667 года, как раз в тот день, когда страшное землетрясение разрушило Дубровник и погубило друзей Кувели. Его брату Виду так никогда и не пришлось служить Дубровницкой Республике.

## История о душе и теле

Чайки на пляже Игала проводили утро в поисках вчерашних отбросов. Ива, еще полу-сонная, с босыми ногами в море, лежала неподалеку от них и ждала, когда волны постепенно и окончательно разбудят ее. Сквозь опущенные веки она видела, как чайки приносят на ее лицо и руки тени, в которых было немного прохлады. Запах соли и трав на берегу менялся – солнце припекало все жарче. Не вставая, Ива начала лениво раздеваться. Альбатросов больше не было, а из леса начали появляться купальщики. У Ивы ни разу не возникло желания открыть глаза и раздать окружавшие ее голоса тем, кому они принадлежат. Она оставалась среди них, на гальке, с закрытыми глазами почти до полудня. Исключение составляли вялые вылазки в море, разогревшееся от прибрежных камней. Эти дополуденные часы оставались потерянными для ее глаз, и она никогда не узнала, как они выглядели. Но об этом Ива не жалела. Она улыбалась слепыми улыбками, которые приходили на ее лицо не извне, а изнутри, улыбками, с которыми впервые она встретилась в детстве, во сне. Нынешние же улыбки возникали из воспоминаний о вечерах, которые утром отзывались небольшой сладкой усталостью, сохранявшейся лишь в одном месте, где-то в ее бедрах.

После полудня Ива брала мяч и шла тренироваться. Площадка находилась неподалеку, в лесу, за проволочной сеткой. Она пахла морем и сосновыми иголками, и всю ее, казалось, занимал огромный кусок торжественной тишины, достойный того, чтобы быть выставленным в археологическом музее. Эта укрывшаяся за пиниями тишина, словно церковь, ждала, когда в нее войдут. На площадке Ива редко оставалась в одиночестве. Она была членом молодежной сборной страны по баскетболу, и обычно вокруг нее быстро собирались отдыхающие. Благодаря какому-то особому спортивному инстинкту, сформировавшемуся на огромных зеленых стадионах больших городов и на соревнованиях во время работы в стройотрядах, Ива никогда на них не сердилась и никогда не упускала случая отпасовать мяч кому-либо из этих незнакомцев, навязывавшихся ей в партнеры. Это было странное зрелище, которое ничем нельзя было объяснить, если бы не мяч, хотя, по сути дела, и мяч был всего лишь оправданием. Толпа возбужденных темноволосых самцов в солнечном лесу пыталась загнать самку. Если бы пальцы Ивы не владели мячом так же хорошо, как, несомненно, они знали собственное тело, никакой игры бы вообще не получилось. Но Ива была в состоянии помериться силами со своими противниками. Они же потом никогда не могли забыть то откровение, которое им довелось пережить в лесу, на спортплощадке санатория в Игале, поэтому приходили вновь и вновь, каждый день, и играли со страстью, подстерегали Иву на берегу, подавали ей откатившиеся или отскочившие мячи, а она, как это ни удивительно, двигалась довольно мало и неохотно, хотя, оказавшись под щитом, всегда безошибочно посылала мяч в корзину. Они приветствовали ее на улицах городка, наблюдали за ней, когда она лежала на песке, наполненная прекрасными, естественными и пока еще неподвижными движениями.

Но после игры наступал момент, когда солнце заходило за горизонт. Берег постепенно пустел, и Ива оставляла мяч. Она брала ключ, открывала небольшой дощатый сарайчик в дальнем углу пляжа и, осторожно ступая по гальке, заносила в него шезлонги. Территория была немаленькой, и работы Иве хватало. Сначала она брала разом по четыре шезлонга из тех, что стояли поближе, два одной рукой и два другой. Потом только по два, а под конец, последние, носила по одному, вяло передвигаясь мимо поздних купальщиков. Солнце постепенно садилось за горизонт, ноги уже плохо слушались ее, и те, кто еще совсем недавно общался с ней, уже не узнавали ее.

\* \* \*

В то время дня, когда я был занят на берегу своей работой, вблизи моря оставались едва ли несколько человек, которые со своих шезлонгов наблюдали за тем, как я тружусь.

Работал я по пояс в воде, почти нагой, двигаясь ровно посередине между заходящим солнцем и их взглядами. Черная повязка на глазу, волосы и небольшой кусок полотна – это было все, что прикрывало мое тело. Пот, соль и игра света создавали впечатление, что контур тела под кожей очерчен тонким рисунком крови. Пляж был покрыт галькой, которую море постоянно пыталось утащить назад, под воду, и почти каждый день моих каникул, а значит, и свободы, я занимался тем, что насыпал гальку с морского дна в мокрую деревянную тачку и, катая ее по специально проложенной доске, окованной железом, возвращал гальку на берег. Работа была тяжелой, и со мной вместе всегда работал кто-нибудь еще, один или двое. И ни разу ни одна из женщин не посмотрела из тени на краю леса ни на кого из них. Эти женщины никогда не ошибались, даже чуть-чуть, и они точно знали, что именно хотят увидеть. Меня они разглядывали методично, каждый участок моего тела, с пристальным вниманием, особенно к наиболее напряженным частям моего тела. Картина никогда не повторялась: солнце, к которому я всегда обращал ту половину лица, где у меня не было глаза, постепенно скатывалось за горизонт и каждый раз, когда я появлялся на берегу, оно окрашивало мою фигуру, которую они рассматривали, в новый оттенок цвета. Моя усталость нарастала, и они знали, что кончиками пальцев могли бы почувствовать, как жилки у меня на голове под мокрыми волосами пульсируют от напряжения.

Но в это время дня еще ничего особенного не происходило. Все начиналось с Барбары. За рыбой я отправлялся незадолго до этого. Добывал я ее с помощью ружья для подводной охоты, и всегда столько, чтобы хватило на двоих. Море в эти минуты пахло водорослями, моллюсками и звездами и свободно попадало мне в рот, заставляя меня хорошо запомнить эти запахи. Кроме того, здесь, под водой, я чувствовал, какой вкус будет у рыб, в которых я целился, когда они окажутся на столе вместе с «Заячьей кровью» и колючим салатом, приготовленным Барбарой. Ее маленький ресторанчик находился сразу за пляжем, среди сосен, там, где была танцплощадка.

– Барбара, не пожаришь ли нам рыбы? – спрашивал я ее. Она смотрела на края моих ступней, запачканные смолой, на волосы с застрявшими в них иголками пиний и вдыхала соленый ветер, который я приносил в ноздрях. По вечерам к ней в ресторанчик люди заходили, лишь если у них не было намерения провести время получше. Рыбу, которую я приносил, она всегда готовила с особой страстью. Она наизусть знала всю мою одежду и обувь и цвета всех моих рубашек. Пока я ужинал за одним из маленьких столиков в углу, там, где был слышен шум моря, она из-за стойки наблюдала за мной сквозь ресницы, позабыв стыд, и точно чувствовала в моем рту вкус рыбы, которую только что поджарила. Ей было уже за шестьдесят, но она была еще совсем молодой, необыкновенно толстой, а ее ревность и страсть были простодушны и огромны.

Все начиналось здесь, перед Барбарой. От ее глаз не могло укрыться поведение ни одной из тех женщин, которые приходили в ее ресторан одни или в компании для того, чтобы посмотреть на меня. Барбара видела, что все это повторяется из года в год почти без изменений. Она хорошо знала этих одиноких и, возможно, больных женщин, которые приезжали еще до начала настоящего сезона и здесь, на глазах у Барбары, переживали встречу со мной спонтанно, словно свое собственное открытие, словно нечто такое, что выпало только им одним. Одинокий отдых таких женщин проходил как череда случайных волнующих каждодневных встреч на пляже или в полупустом вечернем ресторане. Были здесь и женщины, которые приезжали позже, в разгар лета, и такие быстро понимали, что их открытие принадлежит не только им. Барбара хорошо

знала и тех женщин, которые долго делали вид, что ничего не замечают, хотя их подруги или даже совершенно незнакомые случайные соседки указывали им на столик в ресторане Барбары, за которым сидел я. Но даже и они, когда им представлялся случай без помех рассмотреть то, на что обратили их внимание, – даже и они делали это с неожиданной готовностью. Барбара наблюдала, как на их лицах, словно в зеркале, отражались все мои улыбки, и чувствовала, как тем, другим, женщинам удавалось расслышать нечто исключительное в тех простых словах, которые я произносил по поводу рыбы, «Заячьей крови» или денег. Барбара знала, что здесь были разные женщины, некоторые говорили так, что она с трудом их понимала, эти приезжали сюда из таких мест, про которые она даже никогда не слышала. Здесь были женщины с самыми разными фигурами, по-разному воспитанные, в большинстве своем лучше, чем Барбара, но все они были моложе ее, и она со своим огромным опытом, столько повидав на своем веку, хорошо понимала, что большинству этих женщин я вообще не подходил. Благодаря силе безошибочного инстинкта, который ошибался только в отношении ее самой, она чувствовала, что почти все они заблуждались и обманывали сами себя.

Однако встречались и совершенно роскошные женщины, рядом с которыми Барбара чувствовала, что весь ее опыт обесценивается и что ее охватывает страх перед их вечно прекрасными лицами, красота которых повторялась, словно принадлежала она не только каждой из них, но одновременно и всегда – всем. Да, бывали здесь время от времени роскошные и дерзкие женщины, не привыкшие встречать сопротивление, которые коротко и ясно давали мне понять, что я должен составить им компанию. Бывали и другие, к которым Барбара была менее ревнива, потому что они сразу же и в полной мере показывали, что именно их интересует, стараясь коснуться меня плечом во время танца, невзирая на сопротивление своих партнеров, или же улучая момент, чтобы прижаться ко мне грудью, пробираясь между тесно поставленными столиками. Все они, и притом каждая по-своему, хотели того же, что и Барбара. Но все же по отношению ко всем им она чувствовала несомненное превосходство. Потому что никто из них не знал и не любил Иву так, как Барбара.

Обычно по вечерам Ива приходила в ресторан Барбары, и тогда мы с ней уже не видели и не узнавали никого. Все время, пока мы пили «Заячью кровь» и ели рыбу из тарелок, наполненных лунным светом, наши спины, покрытые мурашками, чувствовали, что повсюду за пределами ресторана нас ждет и готовится проглотить огромный пустой и теплый лес, наполненный ночью, смолой и лаем волн.

\* \* \*

В один из сезонов на Игале Ива однажды пришла ко мне с вестью, что она больше не в состоянии носить шезлонги и поэтому на пляже для нее работы больше нет. А так как и я уже довольно долго не имел дела с галькой, возник вопрос, каким образом мы вместе смогли бы выжить. В тот момент у Ивы имелось несколько банок рыбных консервов и немного инжира. И больше ничего. Правда, она сказала, что нашла работу в одном саду, там требовались сторожа. Мы добрались туда автостопом, поселились в маленькой сторожке из камня и сухих веток и провели там несколько дней, колотушками распугивая над садом птиц и питаясь консервами. Когда еда кончилась, я понадеялся, что Ива пойдет собрать яблок. Однако она этого не сделала, и весь день мы сидели голодные. А на следующее утро она спросила:

– Не можешь ли ты пойти в сад и собрать немного яблок, чтобы поесть? У меня желудок то сжимается, то растягивается, словно морская губка.

Я слегка удивился и сказал ей, что не могу. Я уже давно привык к тому, что один мой глаз, тот, что был слепым, смотрит только внутрь и видит только тогда, когда я сплю, а второй смотрит днем на то, что вокруг, то есть на мир, и лишь ночью внутрь. «Это похоже на то, – говорил я Иве, – как будто у меня две птицы в клетке с двумя дверками. Одна дверка открыва-

ется только в день, а другая только в ночь. Через ночную дверку вылетают, чтобы покормиться и полетать, обе птицы, в то время как в день через полуденную дверку выбирается только одна из них. Эта вторая птица сделала главное свое дело в тот момент, когда она выбрала тебя и сообщила весть о тебе первой птице. После этого я уже не особенно удивился, – продолжал я, – когда увидел, что со временем и дневная птица, тоскуя по ночной в часы разлуки, проявляет все меньше желания и способности пользоваться полуденной дверкой, что она все меньше времени проводит в дне и все больше в обществе второй птицы, в ночи и во снах, и так до тех пор, пока обе не стали пользоваться только одной дверкой, той, которая ведет в ночь и сон. Поэтому и кажется мне, – закончил я свое объяснение, – что именно тьма всегда была естественным гнездом глаз, ведь они возвращались в него и раньше, в начале, всегда, когда хотели поспать или отдохнуть от дневного света и правды в свете сна, который вовсе не есть отзвук света дневного и не имеет с ним общих корней. В свете этого солнца тьмы глаза купаются в сиянии, которое гораздо старше сияния дневного (оно представляет собой всего лишь его болезнь), и видят даже то, чего при свете дня уже не увидишь. Короче говоря, – закончил я, – я совершенно слеп и не могу пойти за яблоками».

– Теперь понятно, – сказала на это Ива.

– Что понятно? – спросил я.

– Понятно, почему он нанял нас стеречь яблоки.

– Почему?

– Потому что я, в моем состоянии, и ты – слепой – не можем красть яблоки, мы можем только сторожить их.

– Неужели ты не в состоянии пойти и набрать яблок? – спросил я ее удивленно.

– А неужели ты думаешь, – ответила на это она, – что я из года в год носила шезлонги на пляже в Игале в окружении калек потому, что мне это нравилось, и потому, что я была здорова? Просто я там лечилась, к сожалению безрезультатно! Сейчас все кончено – теперь я не могу ходить, точно так же как ты не можешь видеть.

– Знаешь что, – предложил я ей тогда, а уши у меня при этом просто онемели от голода. – Забирайся мне на спину и смотри за нас двоих, я буду передвигаться за двоих, а ты собирай яблоки!

Таким образом мы пробрались в сад и набрали яблок.

Так мы и жили, питаясь ими, до тех пор, пока хозяин не узнал об этом и не выгнал нас. Вот тут уж действительно впереди забрезжил конец. Мы стояли на перекрестке дорог, и во мне еще раз, в последний раз, проснулось желание. Но мне хотелось, чтобы этот последний раз с Ивой был как можно продолжительнее. И я кое-что придумал.

– Заберись на меня еще раз!

Я двинулся вперед, неся ее на себе и пребывая в ней, а она смотрела на дорогу, которая оставалась за нами. Когда наконец все было кончено, я сказал ей:

– Мы больше не нужны друг другу. Даже тогда, когда мы совсем близки, когда мы занимаемся любовью, ты смотришь в ту сторону, куда я идти не могу, если, конечно, я не захочу идти назад, я же двигаюсь в ту сторону, куда ты не можешь смотреть, если, конечно, не захочешь смотреть назад. Я знаю, куда увели меня твои глаза: на берег моря, к твоим подругам, которые выбирают новые тела. Выбери и ты... Душа моя, ты, которая держит в себе мое тело, я устал. Отпусти его, дай выйти из тебя и отдохнуть на просторе, а ты поищи другое тело, которое понесет тебя...

И мы разъединились, так же как разъединяются и все другие, когда подходит к концу

## ИСТОРИЯ О ДУШЕ И ТЕЛЕ

## Долгое ночное плавание

– Никогда не стреляй, если твоего ружья не слышно хотя бы в трех государствах!

С этими словами Павле Шелковолосый вышел на большую дорогу, красивый, как икона, и по уши и крови, как сапог. В Приморье, где Солнце ценят не больше, чем коровью лепешку, он бесчинствовал в трех государствах – венецианском, турецком и австрийском, воруя скот и захватывая караваны с пряностями. Как-то в субботу один купец сунул ему в рот ружье и выстрелил, но ружье дало осечку, и Шелковолосому лишь опалило язык пороховым дымом. С тех пор он потерял способность различать вкус, и ему стало безразлично, держит ли он во рту женскую грудь или фасоль с огурцами. Рыбу он с тех пор чистил и жарил не убивая, так что, насаженная на саблю, она трепыхалась над огнем еще живая, а ходил всегда с торчащим наружу концом, потому что поклялся вернуть его в штаны только тогда, когда вернет в ножны саблю.

На Юрьев день он наелся сыра и хлеба и принялся ждать, в какие мысли превратятся в нем этот сыр и хлеб, потому что мужчина может создавать мысль только из сыра и хлеба. В тот день в горах он встретился с Велучей, пастушкой, которая жила без отца, с матерью и сестрами, и никогда не видела мужских яиц, разве что у барана, да и то в жареном виде, а мужчину встречала только на дукатах. Когда из леса перед ней появился Шелковолосый Павле, со сплетенными вместе косичкой и усами, девушке показалось, что ей улыбается солнце. Огромная и незнакомая душа стояла перед ней, распятая на сторонах света, как растянутая шкура, и пустая, как ночь, но на самом деле в ней, как в ночи, лежали города и леса, реки и морские заливы, женщины и дети, мосты и суда, а на дне, совсем на дне, крошечное и прекрасное тело этой души, которое катило ее наверх, как огромный камень. Лишь улыбка, которая загоралась словно свет, приоткрывала на мгновение, что за этой ночью нет пустоты и что через тело можно войти и в душу. А улыбку эту мужчина поймал где-то в другом мире, где лишь улыбкой и можно поживиться, и принес ее сюда, в далматинское Загорье, принес ей, Велуче, как какой-то драгоценный плод, который надо попробовать или умереть...

Велуча глянула в улыбку на лице Шелковолосого Павле, и это было последним, что она в своей жизни видела. Спросила, как его зовут, и это было последним, что она в своей жизни слышала. Он ударил ее прикладом и тут же, на этом самом месте, овладел ею, полумертвой, подобно тому как ел рыбу полуживой. Потом, утром того же дня, продал на одно из судов, которое возит доступных всем женщин из порта в порт, и ушел за той самой улыбкой, которая светится во мраке, а Велучу никогда больше не видел. Девушка осталась обезумевшей от ужаса, от пробудившейся страсти и страха, а от удара – слепой и глухой на всю жизнь.

И началось долгое ночное плавание слепой Велучи. Каждый посетитель, поднимаясь на борт, покупал медное колечко и напечатанную в Венеции маленькую книжечку в золотом переплете с подробным описанием живших на судне девушек и всех известных им способов ублажить пришедшего в каюту гостя. Нормой было с десятков мужчин в день на одну девушку, и они плавали так от весны до весны, от порта до порта, удивляясь тому, что весь мир знает их имена и их достоинства. Вечерние посетители оставляли колечки на судне, надевая их на пальцы своим избранницам, те же должны были утром вернуть капитану по кольцу с каждого пальца, каждая для десяти новых, завтрашних гостей. А книжечки гости уносили с собой и дарили потом друзьям. Так замыкался круг, но не с помощью колец, которые всегда оставались на борту, а с помощью этих книжечек.

Мужчины любят зрением, а женщины слухом, тем не менее глухая Велуча любила лучше, чем другие. Приходившие на судно все чаще требовали именно ее, тайно отрезали у нее прядь волос и посылали в письмах родственникам, чтобы те могли узнать ее, когда и сами окажутся на борту.

– Женщина не мыло, не измылится, – говорили о ней смеясь, и молва о Велуче ширилась быстрее, чем двигалось судно, причем описать словами впечатления от свидания с ней не удавалось никому, и все выражалось движением руки и свистом. Медные колечки надевали ей иногда и на пальцы ног, потому что, бывало, на руках уже не оставалось места. А она не видела и не слышала ничего из того, что происходило с ней и вокруг нее, и продолжала оставаться самой желанной.

– Днем ее ум работает быстрее, чем сердце, но ночью наоборот, – перешептывались другие девушки. Принимая и снимая кольца, слепая Велуча прошла на женском судне все Адриатическое и Ионическое моря от Анконы до Венеции, от Бари до Драча, от Дубровника до Корфу и только спустя долгое время как-то раз сказала:

– Чудная какая-то это деревня, в которой мы живем, – всё подвалы под землей, а улиц на солнце почти и нет, должно быть, оттого все так качается...

Только тогда стало ясно, что она не знает, где находится. И ей объяснили, опустив ее руку в морскую воду, что живет она на судне. Велуча по-прежнему не выражала беспокойства, только иногда ей снилось, что ее уши, отделившись от головы, словно две бабочки, летят на сушу, чтобы принести ей чей-то голос или чье-то имя. Но когда она просыпалась, уши, совершенно пустые, были на месте. Иногда она, совсем глухая, играла на своей пастушьей свирели, но свирель давно уже не издавала ни мелодии, ни даже писка, – правда, Велуча этого не могла знать. Говорить она почти не говорила, словно боялась, что со словами из нее вытечет кровь. Правда, было одно-единственное исключение. Она утверждала, что ветры, которые постоянно раскачивали их судно, могут сделать ребенка. Другие девушки знали, что таких, как Велуча, действительно в каждом ветре ждет любовник и что поэтому она действительно может от любого ветра зачать ребенка, и они с ужасом слушали, как она молит о том, чего все они так боялись. Она сидела на палубе и молилась ветрам. Ветры были ее церковью. Она призывала их по именам, заклиная одарить ее плодом.

Она молила Западняк, или Горник, на котором пишут то, что хотят забыть; и Бурю, при которой продают честь слева, чтобы сохранить ее справа; и Восточняк, в который мужчине великий грех мочиться; и Холодняк, который по пятницам не вращает крылья ветряных мельниц, путает дороги и заворачивает тропы обратно, к их началу; и Юго, женатый ветер, который может узлом завязать башню; и Вихорь, который помогает спастись бегством и о котором просят Бога и от Бога его получают; и Полночник, от которого проглатывают язык и створается молоко; и Полежак, который, чтоб стихнуть, ищет свечу в день святого Павла и от которого можно в пост оскоромиться; и Вертушину, которая разделяет руку и ложку, пересчитывает шерстинки на собаке и звезды на небе; и Копиляк, который несется быстрее коня, который можно убить камнем и который дует на локоть; и Северац, от которого бросают колеса и приклады в огонь; и Желтый ветер, который приносит сглаз и его ловят зеркалом, чтобы послать чары назад; и Чух, дитя ветров, который может во сне освободить горбуна от горба и повесить тот на ветку клена; и Модрик, который дует через день и может захлебнуться в половнике с вином; и Топлик, который водит войска и конницу, пашет якорем, а жнет саблей; и слепую Анжелию, которая лед в кровать, а снег в миску приносит; и Снегожор, от которого шапки в огонь бросают; и Устоку, которая перевозит в дольний мир срамные части тела и по запаху которой можно определить день недели...

Так, моля ветры дать ей дитя, прошла Велуча и через более страшные непогоды, чем те, которые когда бы то ни было приносили ветры. На шести языках и трех диалектах ею нарасхват пользовались солдаты, под градом ударов противостоящих друг другу грамматик женское судно проплыло через войну между Венецией и Австрией, краем зацепило восстания в турецкой империи, которые откололи от Константинополя Триполи, Тунис и Алжир, его подгоняли те же течения, которые влекли корабли, участвовавшие в кандийской войне, оно прошло сквозь венецианский флот, когда он участвовал в осаде Клиса и Макарской крайны, и

оно единственное никогда не спускало флага. В Герцег-Нови Велуча заработала свою первую болезнь, болезнь, которая разрушала то, чего у нее не было, – слух, на Сицилии вторую – болезнь глаз, смертельную для тех, кто видит. Кроме нее, глухой Велучи, все слышали в Задаре весть, что Шелковолосый Павле погиб и что один турок ездит верхом со стремями, сделанными из его шелковистых волос. В Шибенике один из гостей потребовал, чтобы она танцевала, и она, обняв его за шею, танцевала лучше всех, хотя не слышала ни звука. Всем давно было ясно, что она без ума от своего вечного ремесла, мужчины шептали, что для каждого из них у нее найдется капелька сладкого девичьего пота, а девушки знали, что она ни разу не потребовала у хозяина судна ни гроша за свои любовные труды...

Но все было напрасно, ребенка у нее не было. А потом как-то раз, на Коринфе, девушки увидели то, чего слепая Велуча увидеть не могла, – она поседела.

– Скоро и грудь у нее отвиснет, – говорили они со злорадством. Среди них было много новых, молодых, и слава Велучи меркла. Все меньше людей приходило в ее каюту на судне. Все реже на ее руках появлялись медные колечки. Однажды ее постель оставалась пустой всю ночь, и девушки нашли ее в слезах. Они гладили ее оливковыми веточками по голове, не понимая, почему она плачет, и изумились, услышав слова, о которых люди рассказывают и по сию пору:

– Мой Павле Шелковолосый за все эти долгие годы ни разу не обманул меня, по десять раз за ночь приходил ласкать, ложась рядом. Теперь он больше не приходит. Самый красивый, единственный на свете мужчина меня больше не любит. Шелковолосый Павле нашел себе другую...

Сказала и бросилась в море...

То место здесь так и зовут, по той ее славе, которую не опишешь. Всякий, кто проплывает здесь, бросает весла, взмахивает рукой и присвистывает. А раз это так, то и я вот на этом месте бросаю весла, взмахиваю рукой и пытаюсь вспомнить тот самый свист из XVII века.

## Корсет

### 1

В мае прошлого года со мной случилось нечто невероятное. Я нашла в своем почтовом ящике объявление, вырезанное из газеты. В нем было написано следующее:

ПРИГЛАШАЕТСЯ БРЮНЕТКА,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ  
(ГИТАРА)  
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:  
РОСТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 1 м 70 см  
ПРИ ОДИНАКОВОМ ОБЪЕМЕ БЮСТА И БЕДЕР

К бесподобному тексту прилагался и адрес, по которому следовало обращаться.

«Недалеко от Gare Montparnasse, – заключила я, пока еще ни о чем не догадываясь. – Это в шестом округе».

Я как раз вступила в тот возраст, когда нравится все самое сладкое: мужской одеколон «Van Cleef», липкий осенний виноград, а весной – черешни, уже поклеванные птицами. В январе я научилась подхватывать на лету выпущенные из рук предметы, не давая им упасть, и ужасно гордилась тем, что я уже взрослая и могу заниматься любовью.

Машинально сунув бумажку с объявлением в карман, я привычным жестом взяла гитару и спустилась по лестнице. Какая-то мысль не давала мне покоя. Я брюнетка, рост и прочие данные совпадают. Я всегда попадаюсь на объявления: за каждым из них меня точно ждет бабочка, способная вызвать землетрясение. К тому же моя «мышеловка» всегда соображает быстрее, чем я. И на этот раз она все уже знала. Как всегда, раньше меня.

Дело происходило утром. Не успела я выйти из ворот, как из тумана вынырнул автобус номер 96. Он медленно подъезжал к станции, расположенной перед моим домом на Rue des Filles du Calvaire. На боку автобуса во всю его длину были перечислены остановки:

**Porte des Lilas – Pyrenees – Republique – Filles du Calvaire – Turenne – Hotel de ville – St. Michel – Gare Montparnasse.**

Автобус остановился прямо передо мной, и его двери медленно распахнулись, будто приглашая меня войти. Не отозваться на такое приглашение было просто невозможно. Я вошла в автобус и отправилась по адресу, указанному в объявлении. На двери квартиры не было указано имени, но его не было и в объявлении – только адрес и телефон.

Дверь открыл молодой человек примерно моего роста. Я с трудом узнала его. Бледность его лица несла на себе отпечаток четырех-пяти поколений. В этой бледности таилось нечто похожее на отметину от удара. Но все же я сразу вспомнила: это он, мой любовник. Тот самый, с которым я познакомилась в Греции. Столько лет спустя он снова расписался на мне своей усмешкой, о которую можно и обжечься. Это был он, Тимофей, со своей золотистой бородкой, похожей на виноградную гроздь. Сначала я хотела повернуться и уйти, но меня удержало его поведение: он вел себя так, точно мы никогда раньше не встречались. Как будто это не он меня учил воровать по мужскому уду. Он не только вел себя как другой человек, но временами таким и казался. Он вежливо спросил, как меня зовут, притворяясь, что никогда раньше не слышал моего имени. Все это было настолько убедительно, что я решила остаться.

– Так вы – преподавательница? – спросил он, пропуская меня в квартиру. На меня повеяло незнакомым приятным ароматом одеколona, быть может чересчур сладковатого и маслянистого. Это не был «Azzago» – туалетная вода, которой он когда-то пользовался.

Когда я оказалась на середине большой комнаты, он смерил меня взглядом с головы до ног.

– Пожалуй, вы мне подойдете, – задумчиво процедил Тимофей. – А что, цвет волос у вас естественный?

– При чем тут мои волосы? Натуральный черный цвет. Голландская ламповая копоть... Так ведь написано в вашем объявлении, кстати не слишком-то вежливом, – вступила и я в игру, словно мы раньше никогда не занимались любовью, едва начинался дождь.

Мои волосы начинают виться, если я тащусь или, например, влюблена, и распрямляются и повисают, когда я не в форме. Я мимоходом взглянула на себя в зеркало и увидела на голове африканские кудри. Значит, я была в ударе. Я сказала, сколько беру за урок, и предупредила, что после пятого занятия, если замечу, что дело не движется, прекращаю обучение. Затем я усадила его на диван рядом с собой, взяла аккорд и начала урок:

– Прежде чем приступить к обучению, объясню вам, что следует помнить о пальцах, когда вы играете. Большой палец правой руки – это вы, а большой на левой – ваша любовь. Прочие пальцы – ваше окружение. Средние означают: правый – ваш друг, левый – враг; безымянные – ваши отец и мать; мизинцы – ваши дети, и мальчики, и девочки, указательные пальцы – ваши предки... Когда будете играть, иногда думайте об этом.

– Ну, коль скоро из струн гитары звуки извлекает моя левая рука, то, согласно вашей присказке, играют моя любовница, моя мать, мой враг, моя бабушка и моя будущая дочь, если я окажусь достоин ее иметь... Короче говоря, это будет женская игра, особенно если мой главный враг – тоже дама, – заключил он.

– Учтите, – сказал он, перейдя на минуту в роль наставника, – если вы повредите палец, то это будет касаться не вас одного. Любая ранка на пальце означает болезнь или угрозу для жизни близких вам людей или тех, кто вас ненавидит...

Этот выпад меня немного смутил, и я продолжила урок, обращаясь к нему на «вы», как и он ко мне. Я показала расположение пальцев в простейших аккордах, и он это быстро усвоил. Но правой рукой к струнам ни разу не прикоснулся. Ни в первый урок, ни потом. Он учил только аккорды. Выучив все, что относится к пальцам левой руки, он стал очень точно воспроизводить первую мелодию, которую я ему задала, но, вопреки всем моим указаниям, не пускал в ход правую руку. Это были хорошо оплачиваемые уроки беззвучной музыки. Тогда я пришла к заключению, что мои духи «Molineux» не согласуются с тем ароматом, на который теперь перешел мой знакомый. В один из следующих дней я надушилась туалетной водой «La Nuit» Paco Rabanne.

– Почему бы вам не начать работать правой рукой? – спросила я. – Напоминаю, завтра у нас пятый урок. Если вы будете брать только эти спотыкающиеся аккорды, я прекращу занятия.

– Но, боже мой, как вы одеты?! – с недовольным видом прервал он меня, быстро вставая. – Пока вы в таком виде, я не могу заниматься.

Я остолбенела. Он взял меня за руку, как маленькую девочку. Мы спустились вниз, вышли на улицу и заглянули в два-три модных салона. Проявив потрясающую сноровку и безошибочный вкус, он купил мне прекрасную юбку, клетчатые чулки, к которым полагался такой же шотландский берет с помпоном, двусторонний плащ и блузку с перламутровыми пуговками. Здесь же, в салоне, он заставил меня все это надеть. Мои прежние тряпки он приказал модисткам сложить в пакет и выбросить. Все мое возмущение улетучилось при первом взгляде на себя в зеркало.

– Ну вот, теперь можно продолжить урок, – заявил он удовлетворенно, и мы вернулись к нему в квартиру.

Здесь я должна признаться, что была довольно сильно напугана тем упорством, с которым он продолжал делать вид, что мы никогда не были знакомы. Я взяла свою гитару и уселась, чтобы продолжить занятие. Однако он и не думал братьяся, как обычно, за свой инструмент, а

вдруг подошел ко мне сзади и обнял. Я хотела вырваться, но он, не выпуская меня из объятий, взял первый аккорд на моей гитаре. Аккорд был кристально чистым, его правая рука безошибочно делала свое дело. Тихим, глуховатым голосом он запел старинный романс, которому я его обучила во время третьего урока беззвучной музыки. Через каждые два слова он меня целовал в шею, и я глубоко вдыхала запах его необычного одеколона, которого я раньше ни у кого не встречала. Только слова были не французские, это были слова какого-то странного, незнакомого мне языка.

Пойман тихой сетью завтрашних движений  
И в твоих объятиях недвижим почти...

– Это сербский язык? – спросила я.

– Да нет. Почему это вам пришло в голову? – отвечал он.

На середине романса он прервал игру и начал медленно меня раздевать. Сначала стащил с меня берет и туфли, потом снял кольца, разомкнул перламутровую пряжку на поясе. Затем через блузку расстегнул лифчик.

Я тоже стала его раздевать. Дрожащими руками стащила с него рубашку и все остальное. Когда же мы оба остались голыми, он швырнул меня на постель, уселся рядом, задрал вверх ногу и начал натягивать мои шелковые клетчатые чулки. К своему ужасу, я обнаружила, что мои только что купленные чулки смотрятся на нем гораздо лучше, чем на мне, а затем пришла к такому же заключению относительно юбки и блузки. Все это сидело на нем превосходно! Оправив юбку, он обул мои туфли, причесался моей гребенкой, небрежно нацепил мой берет с помпоном, обвел губы моей помадой и стремительно вышел из квартиры.

Я осталась, лишенная как дара речи, так и одежды, одна-одинешенька в чужой квартире. У меня было два выхода – или уйти в его мужском костюме, или сидеть и ждать, пока он вернется. И тут меня осенило. В шкафу я нашла великолепную старинную женскую кофточку с вышитой серебром монограммой «Л» на воротничке. И еще юбку со шнуровкой. В шов юбки была вшита этикетка «Roma». Значит, одежда была в свое время привезена из Италии. «Все это, конечно, сто лет никто не носил, ну и пусть», – подумала я. Поскольку все это мне оказалось впору, я оделась, спустилась вниз и вышла на улицу. Он сидел за столиком ближайшего ресторанчика и ел паштет из гусяной печени, запивая его «Сотерном». При виде меня глаза его сверкнули, он вскочил.

Наш поцелуй был слишком горячим для двух высоких девушек – подруг, случайно встретившихся вечером на улице. При этом поцелуе я почувствовала, как моя губная помада приобрела на его губах новый аромат. Мы поднялись в его квартиру. «Как тебе идет костюм моей тети», – прошептал он, расстегивая мою одежду еще на лестнице. Не успела закрыться дверь, как он уже лежал на мне, весь прямой, как пловец, устремившийся с вышки в воду. Его сложенные вместе ладони оказались над моей головой, ступни ног тоже были соединены и вытянуты. Он весь напрягся, как копьё, чей полет дольше его собственного века. Больше я ничего не помню.

Человеку свойственно быстро забывать свои лучшие минуты. Вслед за мгновением высшего творческого наслаждения, оргазма или чарующего сна наступает забвение, амнезия, утрата памяти. Ибо в моменты прекрасных снов или в минуты воплощения высшего животворящего начала – зачатия ребенка – все наше существо поднимается по лестнице жизни на несколько ступеней выше самого себя. Не в силах долго оставаться на такой высоте, мы, возвращаясь к реальности, стараемся поскорее забыть эти мгновения наивысшего просветления. За свою жизнь мы не раз бываем в раю, но помним всегда только изгнание из рая...

\* \* \*

Наши уроки музыки перешли в нечто иное. Он был от меня без ума. Однажды утром он сказал, что хотел бы мне показать свою мать и тетку.

– Но, – прибавил он, – чтобы их увидеть, нам надо будет поехать в Котор и заглянуть в наш фамильный особняк. Я только что вступил в права наследства. Это в Черногории. Война там закончилась, и мы можем туда съездить.

Тут он достал старинный позолоченный ключ, головка которого была исполнена в виде перстня. Если зажать ключ в ладони, может показаться, что у вас на руке просто кольцо с прекрасным сардониксом. Именно так он и надел мне его на палец. Это было своеобразное обручение. И тут вдруг произошло нечто странное. Мне представился образ не самого дома, а его внутреннего убранства, причем на секунду я увидела расходящуюся влево и вправо лестницу. Но я не ответила ему, хочу ли я поехать...

## 2

Когда мы приехали в Котор, был полный штиль. Лодки парили в воздухе над своими перевернутыми изображениями, точно моря вообще не было. По белым склонам гор скользили черные тени облаков, похожие на быстро движущиеся озера.

– В этих местах, если вечером протянуть руку, ночь прямо-таки падает на ладонь, – сказал Тимофей.

– Только не показывай мне свой дом, – сказала я, надевая на палец перстень с ключом, – мне кажется, я сама найду к нему дорогу: ключ приведет меня прямо к замочной скважине.

Так и случилось. Вынув ключ, я пошла за ним и оказалась на маленькой площади. Это была, как выяснилось, Салатная площадь. Перед нами предстало жилище его предков. Которский особняк семейства Врачей, дом номер 299.

– Что значит слово «Врачен»? – спросила я.

– Не знаю.

– Как это не знаешь?

– Не знаю.

– Не разыгрывай меня!

Минуту мы постояли под фамильным гербом. Ворона, сидящего на золотой ветке, поддерживали над нашими головами два каменных ангелочка.

– Жуткая рухлядь, – сказал он, – в этом доме живут звуки, которым не менее четырех веков. После Второй мировой войны, при коммунистах, его национализировали. А теперь новые власти вернули особняк во владение нашей семьи. Известно, что в четырнадцатом веке он принадлежал вдове Михи Врачена, госпоже Катене. Мою мать тоже звали Катеной...

Стены особняка были покрыты красной штукатуркой из кирпичной крошки. Но его внешний вид меня не интересовал. Сгорая от нетерпения, я хотела увидеть, что окажется там, внутри. Надев на палец кольцо с ключом, я отомкнула дверь. В вестибюле оказался каменный колодец. Огромный, явно старше самого особняка, он хранил в себе звуки XIII века. Меня захлестнули запахи, пережившие не одно столетие, и я подумала о том, что недружественный дух жилища может заставить женщину бежать от порога дома, куда она собиралась войти. Я сразу узнала расходящуюся надвое лестницу, вдоль нее по стенам были росписи работы итальянского мастера Наполеона д'Эсте. Но это было не так важно. На уровне второго этажа ответвления лестницы упирались в прелестные женские портреты, написанные в полный рост.

– Их-то я и хотел тебе показать, – сказал он. – Та, что справа, брюнетка, – моя тетка, а другая – мать.

Из золоченых рам на нас смотрели две красавицы. У одной в ушах сверкали дивные зеленые серьги, оттенявшие ее волосы цвета воронова крыла, вторая же была совершенно седая, хотя еще красивее первой, и такая же молодая и высокая. На ее руке было кольцо с сардониксом, в котором я узнала головку ключа, украшавшего теперь мой палец. Оба портрета были подписаны именем художника Марио Маскарелли.

Однако нас никто не встречал. Я жаждала взглянуть на его мать, госпожу Катену, или хотя бы на тетю, но напрасно. Никто так и не появился. Мозаичный пол и инкрустированная дверь вывели нас в комнаты второго этажа, а потом в маленькую домашнюю часовню, расположенную над сводом уличного перехода. Там на коленях молилась какая-то старая женщина. Я предположила, что это его мать или тетка. Он от души расхохотался.

– Да нет, что ты, это Селена, наша старая служанка.

В третьей комнате оказались поясные портреты тех же двух красавиц, так похожих друг на друга. Тетка была изображена с гитарой. И тут он сообщил, что тетя велела подарить его будущей невесте свои серьги с драгоценными камнями.

– При одном условии, – добавил он. – Если моя невеста будет играть на гитаре. Судя по всему, эти серьги предназначались тебе.

– А где они? – спросила я.

Он ответил, что обе они давно умерли.

– Разве серьги могут умереть? – удивилась я.

Он снова рассмеялся и достал из кармана пару изумительных серег, похожих на две зеленые слезы. Это были те самые серьги с портрета у лестницы.

– Мама и тетя давно умерли, – пояснил он, – мать я едва помню, а тетка была мне вместо матери. Они были, как ты видела, очень красивые...

Он вдел мне в уши серьги, поцеловал меня, и мы продолжили обход дома. Все в нем было изъедено временем. В одной из комнат я обнаружила две кровати – мужскую и женскую. Мужская была повернута изголовьем на север, а женская – на юг. Мужская представляла собой узкую койку, явно перенесенную с корабля. Огромная женская кровать кованого железа о шести ножках была украшена шарами в виде яблок из желтой меди. Она была такой высокой, что на ней можно было накрывать ужин, как на столе. Зеленые серьги у меня в ушах вдруг стали источать аромат, напоминавший сладковатый немой аккорд Тимофея.

– Что это за странная кровать? – спросила я, указывая на ложе из кованого железа.

– Это трехспальная кровать. Третий из нее всегда уходит, когда становится лишним.

– Как это?

– Очень просто. Когда женщина забеременеет, из постели исчезает ее муж. Когда ребенок подрастает, он уже не спит в постели матери. А в постели появляется любовник. Или любовница. И так далее...

Мы слегка закусили у небольшого стола, даже не присаживаясь. Тимофей угощал меня еврейским сыром «мицвой» в виде карандаша, обмотанного фольгой, причем проявил необыкновенную ловкость рук и скрытую быстроту движений. Мы запили сыр медовой Ракией, которая отдавала воском. Потом он предложил мне три вишни, добавив, что косточки я могу оставить себе. Косточки оказались тремя зернами жемчуга, которые достали из раковины не менее ста лет тому назад.

\* \* \*

Утро в Которе бывает соленым, а рассветает только после завтрака... Почти каждый день Тимофей уходил довольно рано, все улаживал формальности, связанные с наследством. По воскресеньям мы ходили в церковь. Селена и я шли в католический собор Святого Трифуна, а Тимофей – в православный храм Святого Луки. Потом мы все вместе пили кофе на Оружейной

площади. Однажды Тимофей отвез нас через залив в Столив, и мы там увидели церковку, где в одной половине служили по православному обряду, а в другой – по католическому. В тот день я нашла в доме веер его матери. На нем было написано мелким почерком:

*У души, как и у тела, есть свои органы. Узнав об этом, мы начинаем понимать, что реальность двойственна. Божественное откровение (интуиция), человеческая добродетель (мысль, в которой божество не нуждается), сон (а он тоже живое существо), воображение, знания, воспоминания, чувства, поцелуй (невидимый свет), страх и, наконец, смерть – все это органы души. У души их десять – в два раза больше, чем органов чувств у тела. С их помощью душа общается с миром, который содержит внутри себя.*

Однажды я завтракала вместе с Селеной. Служанка поставила на стол запеченных в молоке угрей и зеленый салат, заправленный единственной каплей солнца, проникшей в дом. На руках у нее были вместо перчаток старые носки, из которых высовывались пальцы.

– Я там видела очаровательные женские портреты. Вы знали этих сестер? – спросила я по-итальянски. Она говорила на этом языке лучше меня.

Селена обнажила зубы, источенные волнами сербских и итальянских слов, которые десятки лет их глодали, лизали и захлестывали во время приливов, повторяясь в одних и тех же устах до бесконечности...

Совершенно неожиданно она произнесла:

– Берегись, девочка. Ведь женщина может состариться в одно мгновение, даже в час любви... Что до этих картин, то лучше бы им не висеть рядом друг с другом. Ни одна из них этого бы не потерпела. Ни Анастасия, ни Катена.

– Но почему?

– А Тимофей не рассказывал?

– Нет. Я считала, что они живы. Я думала, он меня привез, чтобы с ними познакомить. Видите, как я ошиблась.

– Да они уж давно умерли. Тимофеева мать, Катена, вышла замуж в семью Враченых. Когда она пришла в этот дом, волосы у нее были черные-пречерные, как и у ее сестры Анастасии, которая приехала вместе с ней. Сестры были очень похожи. Их отец, богатый греческий купец, был постоянно в разъездах. Анастасия воспитывалась в Италии, а ее сестра Катена – в Греции, в Салониках. Помню, у госпожи Катены был дивный голос, который постоянно менялся, как огонь в очаге. По вечерам я слушала, как она тихо поет в опочивальне своего мужа. Это было странное пение, прерываемое вздохами и стонами. Но меня не обманешь. Я скоро поняла, в чем дело. Господин Медош просил ее петь, когда она оказывалась над ним во время любовных утех. То он предпочитал тихие и медленные напевы, вроде песни «Смеркается в день два раза...», в которой каждая строфа плещется, как морская волна. Это были длительные любовные игры. То она напевала мелодии побыстрее. По-моему, в ночь, когда был зачат Тимофей, она простонала песню «Молчит тишина, как цветы голубые»...

Тем временем ее старшая сестра Анастасия слушала все это, сидя в своей комнате и перебирая четки. Но и тут меня не обманешь. Четки служили ей вовсе не для молитвы. Потому она их и в церковь с собой не брала. Она сидела в темноте и перебирала четки, вспоминая любовников, которые у нее были в Италии. У каждого янтарного зернышка на ее четках было свое имя. Имя любовника. А у некоторых зерен не было имен. Они ждали, когда будущее даст им имена. Долго ждать им не пришлось. И неудивительно.

Глаза у Анастасии сияли, как два драгоценных перстня... Я тогда еще не ей служила, а мужу госпожи, господину Медошу. А что потом случилось, все знают.

– Я не знаю. Расскажите.

- Госпожа Катена, мать Тимофея, была убита на дуэли.
- На дуэли?! Во второй половине двадцатого века? С кем же она билась на дуэли?
- С другой женщиной, которая хотела отнять у нее любимого.
- Господи Боже мой! А что известно о той, другой женщине?
- Да все известно. Вот, у вас в ушах ее серьги, значит, все по-прежнему остается в семье. Теперь они обе покойницы, можно и рассказать.

### **Рассказ служанки Селены**

Я уже вам сказала, другая женщина – это госпожа Анастасия, старшая сестра госпожи Катены, чей портрет над лестницей с правой стороны. Похоже, gospodar Медош, отец Тимофея, не остался равнодушным к ее прелестям. Во сне она укрывалась своими волосами цвета воронова крыла, точно в черной постели спала...

Тайный сговор Медоша Врачена и его свояченицы происходил, бывало, через еду, подававшуюся на ужин. Анастасия каждый день заказывала, что готовить к столу. И отдельные блюда, которые я готовила под ее неусыпным наблюдением, обещали Медошу, если он ночью ее навестит, определенный род наслаждений. Точно сказать не могу, но догадываюсь, что похлебка из пива с укропом означала одно, заяц под смородиновым соусом – другое, а фрукты в вине – третье. Особенно блестели глаза моего господина, если по приказу госпожи Анастасии я ставила на стол устрицы Сен-Жак с грибами. Что уж там делалось в спальне Анастасии, сказать не могу. Но Катена была в полном отчаянии. От ревности она поседела за одну ночь. Так ее и написал живописец. Она тогда как раз носила Тимофея...

Все мы ходим по грязи, что во сне, что наяву. Когда подошло время родов, господин Медош отослал жену в Сараево, где в то время жил ее отец. Родился Тимофей, госпожа Катена вернулась в опочивальню своего мужа, и можно было ожидать, что его страсть угаснет, как многие другие человеческие страсти. Но связь между Медошем Враченом и его свояченицей не прекратилась.

Госпожа Катена была женщина с характером. Она предприняла решительный шаг, чтобы отстоять свое семейное счастье. В один прекрасный вечер, когда Анастасия приказала готовить устрицы Сен-Жак с грибами, не зная о том, что господина Медоша не будет в Которе, госпожа Катена подала на стол вместо морских раковин шкатулку с пистолетами своего мужа. Она зарядила их и предложила сестре выбирать. Или сию же минуту, той же ночью навсегда уехать из Котора и оставить их семью в покое, или на заре драться на дуэли на пистолетах. Уж и в мое время дуэли вышли из моды, а что говорить о временах их молодости. Тогда и мужчины перестали вызывать друг друга на дуэль. А госпожа Катена решила разрубить этот узел дуэлью с родной сестрой...

Глядя на Катену своими красивыми неподвижными глазами, Анастасия тихо спросила:

– Почему на заре? И громко добавила:

– Бери свои пистолеты. Идем на берег немедленно! Я тогда уже служила Анастасии, поэтому видела все. Мы вышли к морю через черный ход. Воткнули в песок саблю, повесили на нее фонарь. Дул сирокко, ребристый и жгуче-холодный. Он дважды задувал огонь. Ничего не было видно и слышно из-за дождя и шума морских волн. Сестры взяли по пистолету, повернулись спинами друг к другу и к фонарю, а я должна была считать – каждой предстояло сделать по десять шагов. Первой стреляла Катена. И промахнулась. А у той и другой было право на два выстрела, но по очереди.

– Смотри, целясь получше, второй раз я не промахнусь! – крикнула Катена сестре сквозь ветер.

Анастасия выпрямилась во весь рост, медленно повернула к себе дуло пистолета, облизнула и взяла в рот. Постояла так минуту, потом поцеловала дуло и выстрелила в сестру. Она убила ее на месте. Пуля прошла сквозь поцелуй.

Дело это замяли, представив его как несчастный случай. Мы перенесли тело в дом и сказали, что, дескать, госпожа разглядывала оружие мужа, в его отсутствие и пистолет сам по себе выстрелил. Что творилось с господином Медошем – не описать. Первое время он слова не мог произнести. Наконец успокоился и сказал:

– Преступление, совершенное в дни, когда дует сирокко, даже на суде карается вполвину.

То ли ему померещилось, что он еще молод, то ли еще что, но он покорился судьбе и не стал выяснять отношения со свояченицей. Да и что ему оставалось? Мы оба, и он и я, молчали ради мальчика. Сестра покойной осталась жить в доме Враченев. Она стала растить ребенка. Вот и вырастила нашего Тимофея. Когда они уехали из Котора, барышня Анастасия вернулась к отцу и взяла мальчика с собой. Стала ему вместо матери. Они жили в Италии, пока Тимофей не подрос. Тогда господин Медош забрал его к себе в Белград. Тимофей тяжело пережил расставание с теткой, да и теперь, я думаю, скучает...

Говорят, что ненависть живых переходит в любовь умерших, а неприязнь покойных – в любовь живых. Не знаю. Знаю только: быть счастливым – это особый дар, здесь нужен слух. Как в пении либо в танце. Ведь счастье можно и завещать, и передать по наследству.

– Ну нет, – резко возразила я, вставая из-за стола, – счастье нельзя унаследовать, его надо строить по кирпичику. И вообще, гораздо важнее, как выглядишь со стороны, чем как себя ощущаешь.

### 3

На другой день я нашла в ящике пару шелковых перчаток и в одной из них – флакончик с душистым маслом. На нем была непонятная мне надпись: «Io ti sopravvivo!»

«Я тебя переживу!» – перевела мне Селена эту надпись.

Понюхав его, я узнала запах одеколона – так пахло от Тимофея. Он пользовался теми же духами, что и его тетка Анастасия. Я ему ничего не сказала. Но он, кажется, что-то заметил и сказал:

– Тетя была бы счастлива, узнав, что моя возлюбленная примеряет ее меха и платья. Все они здесь. Я думаю, ее вещи тебе подойдут, ведь ты сложена почти так же, как она. Мы в этом убедились еще в Париже.

И мы начали рыться в шкафах и чуланах старого дома. Там еще сохранилась масса прекрасных вещей, упрятанных в полуразвалившиеся сундуки, которые их прежние владельцы, моряки, привозили из плавания.

Бродя по дому, мы натыкались на огромные комоды и корабельные сейфы с железными засовами и секретными замками, какие изготавливают в Дубровнике. Один из корабельных сундуков, набитый теткинскими вещами, Тимофей привез с собой из Италии в Париж, а потом сюда. Он достал из него песцовую шубку и попросил меня ее надеть. Она пришлась как раз впору.

– Она твоя, – прошептал он, целуя меня.

Он задарил меня дорогими браслетами, дюжинами митенок и перчаток. Попадались и кольца, которые носят поверх перчаток и подбирают в тон к кружевным, шелковым или лайковым перчаткам.

– Когда придет время, я подарю тебе новые духи, – сказал он. – Но пока еще не время.

С Тимофеем никогда не было скучно. Он вдруг начал меня обучать разным фокусам. Научил есть с помощью двух ножей. Научил обводить арабскими красками подошвы ног, а губы – специально для того предназначенным черным лаком. Мне это очень идет. Потом он стал мне давать уроки кулинарного искусства. Когда он упомянул о похлебке из пива с укропом, зайце в смородинном соусе и устрицах Сен-Жак с грибами, волосы у меня на голове стали дыбом. Я добросовестно научилась готовить все это, но вообще приготовление блюд по-преж-

нему предоставляла Селене. Тимофей был немного разочарован. Когда я однажды спросила его, где в Которе можно постричься, он усадил меня на диван, взял в руки вилку и нож, постриг и тут же на диване овладел мной, не дав мне даже посмотретья в зеркало. С новой прической на пробор я была как две капли воды похожа на его тетку.

– С кем он, собственно, живет, со мной или со своей теткой? – спросила я себя, взглянув наконец в зеркало.

Самыми приятными были вечера, когда привезенный из Туниса фонарь расстилал по потолку персидский ковер, вечера, когда наши души смотрели друг на друга и прислушивались к темноте. Мы сидели в саду за домом, на уровне второго этажа, шурились в темноте и ели выращенные на виноградниках персики, мохнатые, как теннисные мячи. Когда вонзаешь зубы в такой персик, то будто мышшь кусаешь за спинку. Здесь, на насыпи, среди высокой травы росли фрукты, лимоны и желтые апельсины. Над нами проносились ночи, с каждым разом все более глубокие и необъятные, а за стенами смешивались волны, звуки мужской и женской речи. Каменным эхом доносился из города звон стекла, металла и фарфора.

– Прислушайся, – сказал мне однажды Тимофей, – мужчина может овладеть женщиной одним только голосом. – Слышишь этот женский смех?

Я прислушалась. Смех был воркующий, теплый и такой зрелый, что мог лопнуть. И вдруг бог знает откуда, из Верхнего Котора, в этот женский смех ворвался бархатистый мужской голос, который или пробил девственную плевую, или оплодотворил его, и женский голос моментально затих...

Другой раз, на Ивана Купалу, когда время трижды останавливается (так говорил Тимофей), я украдкой наблюдала за ним. Он лежал в постели и смотрел в потолочную балку, увешанную моими пестрыми юбками, растопыренными, как веера. Я почувствовала странный запах. Потом он, абсолютно нагой, прокрался в ночь, вышел на опустевший берег и вошел в теплую морскую воду. Немного проплыл, потом повернулся на спину, развел руки и ноги в стороны и высунул огромный язык, которым стал облизывать нос, как собака. Только тут я заметила, что член у него напряжен и то и дело выпрыгивает из воды, как рыба. Тут я вспомнила, как он учил меня ворожить по мужскому уду. Он лежал неподвижно в соленой морской влаге и предоставлял приливу и волнам ласкать его и подобно сильной наложнице или ее руке исторгать из него семя. Наконец он выбросил сперму в море и заснул на воде прилива, как на любовнице...

#### 4

Однажды, устав бродить по дому, я прошла мимо портрета матери Тимофея, седовласой госпожи Катены, и мне показалось, что она смотрит на меня из своей рамы как-то странно. Не так, как раньше. Это было в сумерках, когда на небе смешиваются птицы и летучие мыши. В комнаты врывается сирокко, заворачивая края половиков...

По правде говоря, в доме, вернее, между мной и Тимофеем по-прежнему чувствовалось напряжение. Он и здесь продолжал вести себя так, словно познакомился со мной в тот день, когда я пришла с гитарой, чтобы давать ему уроки музыки. Как будто между нами ничего не было в Греции, где я ухитрялась под столом ногой расстегивать ему штаны.

«По усам течет, а в рот не попадает, – подумала я с испугом, – неужели возможно, что он меня и вправду не узнал?»

– Ты меня любишь? – спросила я.

– Да.

– С каких пор? Ты помнишь, с каких пор? Признайся, что ты сам составил объявление в парижские газеты, описав мой цвет волос и прочие данные, а потом вырезал его и бросил в мой почтовый ящик. Когда ты признаешься, что знал, кто я такая?

Он ответил:

– Я не знаю, кто такой я сам, а не то что кто ты.

– Ты – бабочка, которая вызывает землетрясение в чужой жизни. Но я? Помнишь ли ты, кто я?

Не отводя глаз от воды под западными воротами Которского залива, он продолжал:

– Да и ты сама не знаешь, кто ты... Что касается бабочки, то сегодня бабочка означает нечто иное. Сегодня конец света настолько назрел, стал настолько возможным, что можно в любую минуту ожидать – взмахнет крыльями бабочка – и он наступит... Хочу кое-что сообщить тебе относительно» конца света. Многие думают, что конец света можно будет наблюдать из любой точки земного шара. Не забудем о том, что это в сущности значит. Если конец света можно видеть с любого места, это значит, что пространства больше не существует. Следовательно, гибель произойдет оттого, что время отделится от пространства в том смысле, что повсюду на земле будет разрушенное пространство. Всюду останется только бесшумное время, освобожденное от пространства.

– Но все-таки ответь на мой вопрос, – сказала я нехотя.

– Видишь ли, я с этим не согласен. В древнем Ханаане неподалеку от храма стоял круглый жертвенник, вокруг которого были устроены сиденья. Это были места для наблюдения за концом света. С них можно было наилучшим образом увидеть Судный: день. Таким образом, они ожидали конца света в одной-единственной точке. Для них это был конец времени, а не пространства. Ибо если конец света можно увидеть в одной-единственной точке, это означает, что на этом месте перестанет существовать именно время. Это и есть конец света. Пространство освобождается от времени.

– Я ему о любви, а он мне о конце света.

– Так ведь и я, и ты говорим о любви. В сердце не существует пространства, в душе не существует времени...

И он указал на горы над Котором.

– Видишь, – сказал он, – там наверху, в горах, лежит снег. Ты думаешь, он везде одинаковый. Но нет, там три снега, и это можно различить даже отсюда. Один слой – прошлогодний, второй, чуть видный под ним – позапрошлогодний, а тот, что сверху, выпал в этом году. Снег всегда белый, но каждый год он другой. Так же и с любовью. Не важно, сколько она длится, важно, меняется она или нет. Если ты говоришь: «Моя любовь остается все такой же вот уже три года», то знай, что твоя любовь умерла. Любовь жива, пока она изменяется. Как только она перестанет меняться, это конец. Тогда в меня вселилось пугающее, но непреодолимое желание. Я сказала Селене, что завтра собственноручно приготовлю на ужин зайчатину под смородиновым соусом. Служанка посмотрела на меня с ужасом, но приготовила все необходимое. Перед ужином я шепнула Тимофею, что будет означать для наших постельных дел появление на столе зайчаткины, и выполнила свое обещание. С тех пор он стал внимательнее относиться к блюдам, которые я ему готовила, и глаза его ближе к вечеру приобретали особый блеск. Однажды он преподнес мне полную лодку цветов. Их аромат пробивался сквозь запах соли и моря.

Шел день за днем, было тепло и солнечно, мы купались, ели рыбу, жаренную в кипящем масле, собирали мидии. Как-то раз он поцарапал краем раковины средний палец левой руки. Я высосала из ранки капельку крови, и все быстро прошло. Я ела инжир из его рук, и они пахли все теми же странными духами. Когда я вдыхала этот запах, я начинала понимать, о чем думает Тимофей. Наконец я поняла, что Тимофей продает этот старый дом.

И тогда я сказала себе: «Какое тебе до этого дело? Находи удовольствие в том, что имеешь. Важнее всего не дом, а сам Тимофей. Если это вообще он». При этой мысли я вся похолодела. Когда он куда-нибудь уходил насчет продажи или еще по каким-нибудь делам, я слонялась по пустому дому одна. На дне все того же корабельного сундука я нашла янтарные четки и старинный корсет, прошитый черным кружевом с золотой ниткой, с застежкой на стеклян-

ных пуговках. Это был корсет его тетки с монограммой «А». Такие корсеты на китовом усе надевались поверх трусиков или вообще без них, а чулки к ним пристегивались каучуковыми подвязками. Я извлекла корсет из сундука, решив сделать Тимофею приятный сюрприз.

Я приготовила устрицы Сен-Жак с грибами, а после ужина капнула себе на запястье и за ухом его духами «Я тебя переживу». Слышно было, как за окнами дует сирокко, как где-то за каменной стеной смеется какая-то женщина. Сквозь ее смех пробился голос Тимофея. Он пел тот самый романс, которому его научила я, если только он не знал его раньше:

Пойман тихой сетью завтрашних движений...

Потом я услышала, как он вышел, чтобы прополоскать зубы водой с медом. Не успел он лечь в огромную женскую кровать, в трехспальную кровать, как я появилась перед ним, облаченная в один только корсет его тетки Анастасии. Он лежал совершенно нагой, мы смотрели друг на друга как зачарованные, и уд его стал каким-то квадратным и торчал, как огромный нос, под которым выделяются лихо закрученные усы. Я уселась на него верхом. В ту минуту, когда моя страсть достигла апогея, я запрокинула голову и чуть не потеряла сознание от ужаса: на меня, слегка покачиваясь в любовном ритме, смотрела из своей золоченой рамы его черноволосая тетка Анастасия в корсете и зеленых серьгах... Я не узнала себя в висевшем над постелью зеркале.

Когда наступает оргазм, мы не в силах его сдержать. За те мгновения, пока мой возлюбленный изверг семя и оплодотворил меня, мои волосы совершенно поседели и я превратилась в ту, другую женщину, по имени Катена, а красавица с волосами цвета воронова крыла, тетка Тимофея Анастасия, навсегда исчезла из зеркала, из трехспальной кровати и вообще из реальности...

Случилось так, словно мне дала новую жизнь его мать.

## Сводный брат

Мой дед со стороны матери, д-р Стеван Михаилович (1853–1922), которого я совсем не помню, родился в Мохаче, в доме местного священника отца Добрена и Софии Кануричевич. Они отдали сына учиться сначала в Печуе, потом в Колошваре, а позже послали изучать право и философию в Пешт, чтобы он, как говорится, не откусывал раньше, чем посолит. Потом он стал и преподавателем педагогического училища в Сомборе, и адвокатом в Суботице и Нови-Саде, часто переезжал с места на место, занимаясь то одним, то другим своим ремеслом от Ковина до Белой Церкви и повсюду возил за собой двенадцать костюмов, шляп и тростей. Во время Первой мировой войны его арестовали и сослали в концлагерь в Араде за то, что он сказал: «Кто сеет в ненастье, пожнет лишь свист на ветру». Умер он судьей в Сомборе, после той войны, и похоронен там же, на кладбище за часовней. Женился он дважды, оба раза был счастлив в браке с женщинами, которые с ним счастливы не были, и имел шестерых детей. Первая его жена была родом из Панчева, и с ней детей у него было трое – сын и две дочери. Это мой дядя, моя мама и моя тетка. Его вторая жена была из Нови-Сада, из семейства торговца Стеича, они постоянно жили в Вене, а в Нови-Саде у них было два дома – один напротив отеля «Воеводина», с балконом на втором этаже вдоль всего фасада, дом этот существует и по сей день, и второй на Лебарской улице, на углу, он был построен над колодцем, и там был фонтан. Вторая жена принесла ему в приданое имение Ченей и родила тоже троих детей – трех девочек.

На отца был похож только сын, единственный от двух браков, мой дядя, Братец, как до сих пор зовут его в нашей семье. У него были красивые волнистые волосы, он носил часы, которые заводил раз в неделю, всегда в церкви, и небольшую карманную солонку. Рассказывали, что по ночам он катался по улицам в фиакре, с накинутым на шею поводом и скрипкой в руках, и все окна при его приближении открывались, а кони по мелодии скрипки всегда точно знали, куда нужно свернуть на перекрестке, и слушались смычка, словно кнута. Возле каждой корчмы он останавливался, и хозяин выносил и подавал ему в фиакр кружку пива. Братец опускал в нее серебряную монету, выпивал пиво и возвращал кружку с деньгами назад. Еще о нем говорили, что он пустой и что любая радость в нем тут же стареет. Так, например, он трижды отправлялся в Печуй с новеньким полным денег бумажником, чтобы «купить аттестат», и каждый раз аттестат пропивал. А если он собирался на прогулку по реке, то для него и какой-нибудь молоденькой вертихвостки под кружевным зонтиком в лодку вносили небольшой стол, накрытый льняной скатертью и уставленный едой и напитками в хрустале и фарфоре, причем в таких случаях вдоль края стола крепили специальное бронзовое ограждение. Братец улыбался сквозь свои усы, как сквозь ячмень, пока они размещались в стоящих возле стола высоких плетеных креслах, похожих на клетки из прутьев, и отчаливали от берега. Этот мой дядя, в честь которого я получил свое имя и на которого был похож, потому что сходство в больших семьях обычно перескакивает под углом, как конь в шахматах, перед началом Первой мировой войны выбрался с австрийской территории, перешел в Сербию, записался в добровольцы и погиб в бою против австрийской армии.

Эта смерть по-разному отразилась на первой и второй семье моего деда. Моя мать и тетка со смертью Братца потеряли не только старшего брата, но и наследство, потому что на основании какого-то семейного завещания все имущество по женской линии могло перейти к дяде и его сестрам, только если он достигнет совершеннолетия.

– Кто на деревянной лошадке скачет, будет печь строить из желтого песка, – сказала бабка. По свидетельству одного солдата, который лежал с ним в полевом госпитале в Пироте, дядя умер от ран и тифа за несколько дней до своего восемнадцатилетия, и эти несколько дней на всю жизнь лишили достатка всех нас – бабку, которая после развода осталась ни с чем и была вынуждена пойти служить учительницей в Мачве, ее дочерей и нас, их детей, оказавшихся

обреченными на жизнь, которая, конечно же, по крайней мере до Второй мировой войны, была совсем не такой беззаботной, какой могла бы быть, останься упомянутое наследство в нашей семье. После этой второй войны, когда уже было поздно пытаться что-либо изменить и когда вся их жизнь уже давно, несколько десятилетий, развивалась в новом направлении, определенном странным пунктом завещания, тетка и мать однажды весной вдруг отправились в Салоники. Там, влекомые каким-то необъяснимым предчувствием, которое, вероятно, годами созревало в них, они принялись искать дядину могилу и нашли ее на Зейтинлике – сербском военном кладбище в Греции. Оказалось, что дядя умер на целый год позже своего совершенлетия, и они с опозданием и безо всякой для себя пользы, хотя и бесспорно, установили, что всю жизнь прожили обманутыми. И все эти долгие годы бесчисленные мелкие заботы не давали им поднять голову и позаботиться о том решающе важном, что помогло бы им избавиться от этих забот и спасти всех нас от нищеты. Так печаль порождает печаль и болезнь передается по наследству.

Для другой половины дедовой семьи смерть моего дяди имела совсем иные последствия. Одна из его сводных сестер, Вида, вышла замуж и переехала в Белград жить с нами, другие же две вместе с отцом переселились в Сомбор, а потом, после его смерти, в Суботицу, где и провели остаток жизни. Они все никак не выходили замуж и жили вместе – напротив мэрии, и здании, облицованном глазурованными кирпичами, которое напоминало пеструю изразцовую печь. Свою квартиру на втором этаже, за большой стеклянной перегородкой, отделявшей входную дверь от лестницы, оклеенной разноцветной бумагой, они заполнили мебелью, которая всегда переезжала вместе с ними и была набита отцовскими вещами. Марика и Анка носили свои имена с таким же равнодушием, как туфли и корсеты, усыпанные стеклянными пуговицами. Несмотря на разность характеров, обе они обожали своего сводного брата и так никогда до конца и не поверили в то, что он мертв. Теперь уже трудно сказать, как и когда случилось, что после известия с фронта о его смерти одна из них в первый раз увидела его во сне, – возможно, это произошло в то время, когда он был еще жив, а мы этого не знали. Во всяком случае, свой сон она тут же рассказала сестре, и обе они его хорошо запомнили.

– Боже мой, Марика, он словно был в комнате, – говорила тетка Анка. – Только это была не эта комната, а какая-то из прежних, может быть в Нови-Саде или в Сомборе, и он был еще таким, как до того как отпустил усы. Только вот язык у него был весь в отпечатках зубов от долгого молчания. А мы с тобой были совсем другие, ты будто ходишь в закрытую гимназию, а я уже закончила учительскую школу и вроде как устроилась на работу, – короче говоря, совершенно какая-то другая жизнь, вовсе не тот путь, который мы с тобой выбрали и который никак не соответствует тому, какими мы были на самом деле, когда он только начал отпускать усы. Ты же знаешь, помнишь, ну ведь мы-то, в конце концов, точно знаем, что не было тогда ни закрытой гимназии, ни учительской школы, ничего похожего. Правда, это могло быть какое-то другое наше прошлое, которого у нас не было, но которое могло быть; возможно, такой могла быть наша жизнь, если бы все сложилось не так, как оно сложилось. Возможно, если мы будем внимательны и если он и дальше будет появляться в наших снах, мы сможем узнать, какими бы мы были, если бы не стали такими, какими стали, и каким был бы наш тот, другой век, тот двойник нашей судьбы, который нам даже не показался, а унесся без нас по другой орбите... Да, но за него, нашего Братца, я так рада. Представь только, сидит он во сне рядом со мной, пускает дым в кудри у себя на лбу и молчит. Да простит меня Бог, но он словно смотал в клубок все наши пути и теперь разматывает по своему усмотрению...

Так сводные сестры моего дяди начали внимательно следить за его визитами к ним в их сны и на этой основе постепенно реконструировать свое иное жизнеописание – возможное, но несостоявшееся. Тайком друг от друга, а позже даже и не скрываясь, они начали это записывать. По их тетрадкам, заполненным рецептами приготовления пирожных, мерками для шитья, рекомендациями по ведению домашнего хозяйства и советами врача на случай необычных

заболеваний, можно было проследить за тем, как их сводный брат приходил к ним в новом костюме, как он переезжал с квартиры на квартиру, как забегал ненадолго сердитый или в плохом настроении, как он расстилал на льду пальто и шел по нему вдоль Уны, держась за кусты, как ввалился однажды вечером запыхавшийся, с красным следом поцелуя на щеке и снежинками в кудрявых волосах, что вызвало у его сестер неприкрытую ревность. Потом можно было узнать, как он начал учиться в университете, как его глаза немного поблекли и изменили цвет после того, как он отпустил усы, как он ходил босым на одну ногу, как сидел перед черным куском хлеба на столе и как жаловался, что ему никак не удастся увидеть во сне отца.

Время шло, началась Вторая мировая война, венгры оккупировали Суботицу вместе с моими тетками за стеклянной перегородкой, но они продолжали вести свои записи.

– Представляешь, Анка, – сказала Марика сестре как-то утром, – опять новость от Братца. И очень важная. Ты не поверишь, но на днях он женится.

– Господи, на ком же?! – воскликнула изумленная Анка и тут же усомнилась в возможности такого поворота. – В его-то годы?

– Знаю и на ком, знаю и на ком, но не проси, не скажу, – продолжала тетка Марика. – Этого я не смогу рассказать тебе никогда.

С того дня, благодаря новой тайне, тетка Марика стала жить с особой торжественностью и гордостью. Проходили месяцы, казалось, недели крошились в чашки для кофе с молоком, и оставалось только ополоснуть их, и вот как-то утром – снова очень загадочная, грызя за чаем сухарик, намазанный толстым слоем маргарина, и чуть-чуть опустив нижнюю губу, – тетка Марика добавила к первой новости вторую:

– Анка, уж не знаю, рассказывать ли тебе это, но все-таки лучше тебе узнать это вовремя. У него будет ребенок. Уже в дороге.

– Что ты такое говоришь, Марика? Откуда у него может быть ребенок? – безуспешно пыталась сопротивляться тетка Анка.

– Разве я тебе не говорила? – спокойно ответила тетка Марика. – Он же женат. Хозяин – барин. Что ж удивляться, если будет ребенок? Жена его уже на третьем месяце.

Весь ее тон, то, как спокойно и упорно она продолжала грызть сухарик, и эта поразительная новость – все вызывало сопротивление тетки Анки, которая как раз собиралась выйти из дома и была занята застегиванием длинной перчатки. От смущения и гнева она оторвала одну из стеклянных пуговиц и, не закончив дела, ретировалась из столовой.

Напряженность сохранялась и в последующие дни и проявлялась в виде медленных передвижений за стеклянной перегородкой. А потом обе, во всяком случае внешне, сделали вид, что никакого конфликта не было и жизнь течет по-старому. Так было до того самого дня, когда тетка Марика прямо за обедом почувствовала какую-то странную тошноту, которая уже не отпускала ее ни на следующий день, ни в следующие недели, ни в следующие месяцы, заставляя постоянно держать руку возле воротника, словно пришитую. Состояние ее становилось все хуже, вызванный врач, опасаясь внутреннего кровотечения, дал направление в больницу, однако тетка Марика изо дня в день откладывала лечение и постоянно вела и проверяла свои записи.

– Ну, болячка моя, что же ты так разыгралась? – ворчала она. – Потерпи еще немного. Женщины говорят, нужно дождаться срока, не стоит идти раньше времени.

На следующее утро тетка Марика проснулась с криком от сильных болей. И прежде, чем сестра успела что бы то ни было предпринять, все было кончено, так что вызванному врачу осталось лишь установить причину смерти, в которую тем утром проснулась тетка Марика. Она умерла от обширного прободения язвы.

Так тетка Анка осталась одна в квартире на втором этаже за стеклянной перегородкой, и ей пришлось купить такой корсет, который она могла застегивать без посторонней помощи. Как-то вечером она открыла дневник, но не свой, а тот, где записи были сделаны рукой ее

покойной сестры. Взгляд тетки упал на последнюю страницу, там под датой 23 марта 1943 года разборчивым почерком была сделана запись: «Наиболее вероятная дата родов». А несколько предыдущих страниц были испещрены подробнейшими девятимесячными записями о состоянии здоровья. Только тут тетка Анка поняла, что последняя дата была днем смерти ее сестры, тетки Марики, и что та умерла уверенная в том, что умирает в родах.

\* \* \*

Когда после 1944 года и освобождения было восстановлено транспортное сообщение между Сомбором и Белградом и начала работать почта, моя белградская родня возобновила контакты с теткой Анкой, сначала в письмах, а потом и лично, – навестить ее и познакомиться был послан я. Дело было так.

Сразу же после войны я начал играть в оркестре Дворца культуры имени Абрашевича, где был самым младшим (мне исполнилось пятнадцать лет), и как-то раз, в ноябре, во время гастрольной поездки, после ночи, проведенной в вагоне, проснулся ранним утром в Суботице совершенно разбитым. Хорошо помню, что тело мое затекло, кожа головы слева от пробора не чувствовала расчески, одна сторона туловища просыпалась раньше другой. Нас было так много, что мы все – не смогли бы поместиться в привокзальном буфете, и перед зданием вокзала нас встречали местные музыканты с огромными цимбалами, вытасканными прямо на снег, в шляпах, с замерзшими руками. Здесь же, на перроне, стояли торжественно накрытые столы, и, несмотря на то что было всего лишь пять часов утра, нам подали завтрак – гуляш, в который падал снег, – и сообщили, что наш концерт в городском театре назначен на восемь часов вечера. Ввиду того что у нас не было вечерних костюмов для выступления, мы взяли напрокат и тут же напялили на себя новенькую военную форму, разумеется, без знаков различия, но с аккуратно нашитыми пятиконечными звездами – и в таком виде разбрелись по городу, над которым расплзался запах мокрого дыма.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.